

Про Анечку и другие истории / рассказы

Category: Некаýалар, Kitарсу

написано kitарсу | 24 января, 2025

Про Анечку и другие истории / рассказы ПРО АНЕЧКУ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

- ПРО АНЕЧКУ

После третьего курса мы проходили медсестренскую практику в детской больнице. Мне досталась детская хирургия, а это значит, что в семь утра в наисвежайшем белом халате и хрустящей от крахмала шапочке, я уже стояла в процедурной и с гордостью оглядывала свои владения.

Процедурная, это, знаете ли, храм. Во-первых – запах. Из-за этого запаха: спирт, чистота, избранность, почти волшебство, моя бабушка много лет назад говорила своей маме, что у нее болит живот, лишь бы только та отвела ее в амбулаторию, где склянки, шприцы, ватки, запах и даже воздух на вкус – все особенное. Бабушка потом стала акушеркой, и эту свою любовь к процедурным передала по наследству мне.

Я оглядываю процедурную. Значит так. Уколы я делать умею. Опять же – бабушка.

– Тебе скоро на практику, – заявила она, – вот, учись, – и повернулась ко мне, так сказать, пятой точкой.

Пришлось учиться на своей любимой «бабочке» (светлая ей память). Комплекс витаминов группы Б был честно и отважно проколот, в конце курса витаминотерапии бабушка сдержанно похвалила:

– Ну что, руки у тебя хорошие. Осталось натренировать голову.

Я вспоминаю бабушкины слова, достаю из стерилизатора инструменты. Это позвякивание шприцев и иглолок – я помню его, вот как будто это было вчера, как будто это не позвякивание, а музыка, лучшая музыка на свете.

– Тетя Лада!

Тонкий писк, дверь приоткрывается на пол-головы. Я опускаю глаза, вижу Анечку.

– Тетя Лада, а скоро укол?

– Скоро, скоро, – улыбаюсь я, – Ты первая. Погоди малек. Я только все приготовлю.

– А можно я рядом постою? – спрашивает девочка.

Анечке пять. У нее гнойный абсцесс на руке, уже прооперированный, теперь осталось антибиотики проколоть. Анечка лежит в больнице одна, потому что нее нет мамы, а отец с маленьким братиком дома.

– Мама моя умерла, когда Яшка родился, – сообщила мне Анечка в нашу первую встречу, – но зато у меня остался папа. Он самый лучший на свете, только иногда плачет.

– А можно я рядом постою?

– Конечно, можно, заходи, – отвечаю я.

Анечка протискивается в дверь.

– А почему ты так долго готовишь мне укол? – спрашивает она, наблюдая, как я читаю и перечитываю буквы на ампулах.

Ампулы тоже волшебные. Когда их подпиливаешь, а потом аккуратно ломаешь, они открываются с таким звуком, будто вот сейчас из них выйдет секрет здоровья, и все обрадуются и пойдут домой.

– Потому что прежде чем уколоть, нужно два раза перечитать, перепроверить, чтобы ошибки не было, – объясняю я.

– Ух ты, – говорит Анечка, – А я еще даже один раз читать не умею. Значит я не смогу быть доктором?

– Обязательно сможешь, – отвечаю я. – Хочешь, я научу тебя буквам?

– Очень, – вздыхает Анечка, – Только я боюсь, что у тебя времени не будет. Ты же совсем взрослая, а у взрослых времени нет.

– Знаешь что? – заговорщески шепчу я и наклоняюсь к ней, – Я ведь не совсем взрослая. Только ты никому не говори, хорошо?

– Хорошо, – шепчет Анечка и замороженно смотрит на меня. – А разве так бывает?

– Бывает все, – киваю я, и поправляю сама себя. – Все хорошее, конечно.

Анечка спускает штанишки, я выбираю самую маленькую и «добрую» иголку – раз и готово. Ватку – шлеп.

– Больно? – спрашиваю.

– Не-а, – мужественно отвечает Анечка. – Щекотно.

Я киваю, складываю инструменты, Анечка натягивает штанишки.

– Тетя Лада, – робко произносит она.

– Что, Анечка, – спрашиваю, хотя точно знаю, о чем она спросит, потому что этот вопрос девочка задает мне каждый день.

– А можно я сегодня еще приду?

– Можно, – киваю я, да и как ей откажешь?.

Анечка все еще стоит, смотрит на меня и вокруг, вдыхает запахи «моей» процедурной и еще более нерешительно спрашивает:

– Тетя Лада... А второй укол можно?

На следующий день, кроме халата и шапочки, я приношу на практику старый букварь.

• САНТА МАРИЯ

В отделении мне дали прозвище Санта Мария.

Рыжие кудри до плеч, обязательная длинная юбка, разноцветный холщовый рюкзак, похожий на котомку или торбу, глаза, которые я очень хорошо умела опускать долу.

«Что ж, – сказала я себе, – Санта Мария – неплохое прозвище для той, которая всего год, как в Израиле, но уже родила сына и понимает иврит».

За моими плечами было несколько месяцев стажа в иерусалимской больнице, а в ней строгая иерархия, врачи в кипах, больные дети от близкородственных браков, по субботам в историях болезней писать нельзя, для этого есть специальные писцы из арабов – только диктуй, и еще – специальный «шаббатный» лифт – он сам по себе ходит вверх и вниз, открывается и закрывается где захочет, и ты в нем – словно «лягушонка в коробчонке».

Во время стажа как-то очень мимоходом родился Данька, в тот день я работала допоздна, пришла домой, поняла, что рожаю, вернулась в больницу и родила.

Послеродовых денег я не получила, потому что Данька решил

родиться 31 августа в 7 45 утра, и до обязательных предродовых шести рабочих месяцев нам с ним не хватило 15 минут.

– За все надо платить, – мудро рассудил муж и нашел третью работу – на мацовой фабрике, а я понянчилась с новорожденным три месяца и снова вернулась в больницу.

Потом стаж кончился, за это время Данька научился сидеть в кроватке и лупить ложкой по пустой кастрюле, и мне стало ясно, что пора искать постоянную работу.

Это была замечательная больница. Ее корпуса утопали в зелени, а пунцовая бугенвилия забиралась по стенам и заглядывала в окна палат. Я пришла просто так, с улицы, без всяких знакомств и предварительных переговоров. И меня – о чудо! – взяли.

Правда, первый год работы моей зарплаты хватало только на проездной, а каждый вторник, всю дорогу до больницы я ревела, как белуга, потому что до заикания боялась обхода со строгим шефом, но зато меня успокаивали знакомые водители автобуса, а один даже предлагал неформальные отношения и домик для свиданий на берегу Средиземного моря.

Коренных израильтян в нашем отделении было всего трое – шеф и два его заместителя – остальные врачи и интерны были русские. Через пару месяцев меня допустили до самостоятельных дежурств. Часы пробили три, все ушли, в отделении осталось шестьдесят больных, три девочки медсестры и я. Вечер прошел в запарке – поступали больные из приемного покоя, их надо было принять, расспросить, осмотреть, удостовериться, что диагноз врача приемного покоя верен, начать лечить.

Вот бабушка якобы с воспалением легких но легкие ее чистые, зато живот – как доска, значит непроходимость, срочно хирурга и в операционную.

Вот женщина после суицида, наглоталась таблеток, в приемном покое ей уже назначили антидот, капают, это хорошо, но погодика, а доза-то рассчитана неправильно, доза-то в два раза меньше, чем необходимо, скорей, скорей, увеличить дозу, неужели поздно?

Вот старик с диагнозом сердечная недостаточность, его ноги завернуты в какие-то тряпки, разворачиваю – одна нога белая и без пульса, набираюсь храбрости, звоню посреди ночи

сосудистому хирургу, это же надо еще и объяснить на иврите, что в отделение подняли больного, и никто не подумал пощупать пульс на ногах, да, я думаю, что это тромб, да, нужна срочная операция...

К четырем утра отделение затихает. Новые больные разложены по кроватям, капельницы капают, сигареты кончились, во рту горько от кофе. Медсестры подремывают, я тоже собираюсь хоть на часок прилечь в ординаторской, и тут начинается какое-то движение, что-то совершенно не больничное, а крики и беготня. Это новый больной, Ави Мизрахи, генерал в отставке, его перевели из реанимации после инфаркта, стабилен, скоро на выписку, что ж такое-то...

Ави выскочил из палаты, волоча за собой капельницу и вращая горящими глазами.

– Арабы! – закричал он на все отделение, – Арабы идут! Орудия, к бою!

Видно, ему что-то приснилось из военной молодости, и сейчас этот сон для него – явь, а как справиться с огромным мужиком, который вот только что сошел с ума, меня никто не учил.

Он принялся бегать между палат, распахивать двери, кричать, что «нас предали», «на нас напали» и «все сюда». Заспанные больные, встрепанные, будто птенцы, начали по одному выходить в коридор, собираться возле сестринской, оглядываться беспомощно по сторонам. Спать больше не хотелось никому.

Испуганные медсестры сгрудились за моей спиной, больные гудели. Зачинщик беспорядков подбежал ко мне, принялся дышать в лицо и требовать всеобщей эвакуации, а еще, чтоб я обязательно вызвала подкрепление. Я кивала, одновременно успокаивала больных, уговаривала их вернуться в свои палаты, и в какой-то момент засунула правую руку в карман халата.

Ави прищурился, и тут мне стало немного страшно. Он схватил меня за руку.

– Я понял! – сказал он свистящим шепотом, – У тебя там пистолет, да? А ну-ка давай его сюда!

Хватка его была, конечно, железной, но почему-то именно это прикосновение все изменило. Не знаю, как и почему, но я поняла, что главная на этом поле боя – я, а не он.

– Ави, – сказала я совершенно спокойно, продолжая держать руку в кармане, – слушай внимательно. Меня послали к тебе на помощь. Подкрепление близко. Сейчас главное – не высовываться. Мы их обманем, понимаешь?

– Понимаю, – обалдел Ави и ослабил хватку. Потом отпустил мою руку, посмотрел по сторонам, кивнул, мол – расходитесь.

Больные потянулись в свои палаты. Ави взялся за капельницу, вернулся на место, улегся в кровать и мгновенно заснул. Все оставшиеся часы до рассвета мы с медсестрами обсуждали происшедшее и нервно шутили.

Утром Ави все вспомнил, подошел ко мне, встал на одно колено и поцеловал руку.

– Прости меня, Санта Мария, – сказал он. – Это все война, будь она проклята. Сны не отпускают.

С тех пор я всем рассказываю про то, как генерал мне руку поцеловал, а про то, что мне было страшно – не рассказываю никому. Потому что нам, Мариам, бояться поздно – все плохое уже произошло, а хорошее – так ведь оно от нас с вами зависит.

• ДОКТОР ЗЕКЛЕР

Доктор Зеклер был неумолимо рыж, из тех рыжих, кто, если краснеет – то огнеопасно, из тех, кто теменем – лыс, а вокруг – венчиком – кудрявый огонь. С годами огонь поседел, лысина слилась с высоким лбом, за которым бушевали мысли и страсти, такие же рыжие, как и раньше.

Доктор Зеклер приходил в отделение раньше всех. Он не приходил, а врывался, выскакивал пробкой из скучной жизни, туда, где бушевала жизнь – настоящая и единственно возможная.

Я вижу его, как будто все это было вчера: вот он идет по сонным коридорам размахивая руками, крутит головой по сторонам, проверяя, все ли на месте, все ли живы, и, по возможности, здоровы. Рассвет заглядывает в окна, у медсестер пересменка, больные просыпаются, врачи забегают, натягивая халаты.

– Привет, шалом, ма шломха?

– Да все беседер, вроде. Наконец-то сняли квартиру. Беда с

этими караванами.

– Иди сюда. Я хочу тебя поцеловать.

– Перестань, ты что, с ума сошел?

– А я говорю ему – Видишь ли, мой дорогой, так дела не делаются.

– Десять тысяч шекелей, ничего себе. Да я таких денег в руках не держал.

Нам по тридцать или около. Мы только учимся жить, любить и спасать. Мы все еще молоды и живы.

Каждое утро в 7.45 мы усаживаемся в комнате для персонала – пятнадцать врачей, главная медсестра – соблазнительная Ора с круглыми коленками из-под короткой юбки, и доктор Зеклер, бодрый, взрывной, готовый к любым неожиданностям, готовый наорать на дежурного врача за ошибку и расцеловать его же за правильный диагноз.

– И ты...ты... не позвала дежурного кардиолога? – кричит он на меня, вот так, сходу, ни в чем не разобравшись, вращая глазами, господи, вот-вот начнет топтать ногами, а я стою у кровати старушки, которую приняла ночью, из-за которой не спала ни минуты, и не могу вымолвить ни слова.

Я, конечно, позвала дежурного кардиолога. Кардиолог согласился с моим диагнозом и начатым лечением. Старушка уже не синяя, она розовая и дышит, не держится за грудь и не охает. Я просто не успела записать все это в истории болезни. Сейчас, сейчас, я все объясню, сейчас доктор Зеклер все поймет и похвалит, и будет мною гордиться.

Но я молчу, как дура, я не могу раскрыть рот, мой язык будто прилип к небу. А потом начинаю реветь. Я реву еще и потому, что доктору Зеклеру наплевать на мои страдания. Для него сейчас самый главный человек на земле – вот этот божий одуванчик, испуганно поглядывающий на свирепого заведующего.

Я реву и реву, но не от несправедливости, нет, а потому, что мой обожаемый начальник мною недоволен, оказывается, есть в жизни вещи, которые трудно пережить, оказывается, наказание может быть целебным, ведь с тех самых пор все мои истории болезни будут заполнены правильно и вовремя.

Каждое утро начинается с пятиминутки, которая затягивается на

полчаса и больше, мы рассказываем про новых больных и обсуждаем старых, в диагнозах которых не уверены.

Иногда мне кажется, что доктор Зеклер немного Бог.

Его слово – всегда последнее и всегда верное. Так не бывает, я знаю, но он никогда не ошибался. Его диагнозы всегда были правильны. Но самое удивительное не это. Он знал еще одно волшебство. Он умел проверять больных.

Нет, не с помощью рентгенов и анализов крови. Он умел их трогать, щупать, разглядывать, обнюхивать, если надо, понимаете? Трогать – и находить то, что постоянно упускали мы.

... – Больной – мужчина 50 лет, – докладываю я уверенным голосом, – поступил ночью. Упал дома, потерял сознание, ударился головой, диагноз: Синкопе. *

– Ты сделала ему ректальное исследование? – громыкает надомной доктор Зеклер.

Я молчу. Холодею руками. Опускаю голову.

Не сделала.

Я приняла этого мужика пару часов назад, диагноз ясен, я прослушала ему сердце и легкие, пощупала живот, не забыла поглядеть на руки и ноги, сделала полное неврологическое обследование, назначила необходимые анализы крови и кардиограмму, удостоверилась, что они нормальные, короче говоря, я сделала все, чтобы понять, из-за чего мужчина его возраста может потерять сознание. Все, кроме ректального исследования. Потому что... ну потому что...

Во-первых, это было не срочно (так я решила). Во-вторых, я постеснялась (правда). В-третьих – ну при чем тут попа к голове, я извиняюсь?

Доктор Зеклер смотрит на меня презрительно.

Я готова провалиться сквозь землю.

Пока он натягивает перчатку и ищет вазелин, я даю себе клятвенное обещание: в будущем, всем мужчинам 50 лет и старше – в обязательном порядке...

– Вот! Я же говорил! – доктор Зеклер «выныривает» из прямой кишки несчастного мужика, и машет пальцем со следами крови. – Я ее нащупал. Опухоль. Хирурга сюда и срочно.

Пришел хирург, посмотрел, подтвердил диагноз, на следующий

день больного прооперировали. Ни химии, ни облучения – вовремя захватили.

Говорю же – бог, а не доктор. Кричал – да. Зато – подавал пример – как надо. А еще – помогал, даже, когда не просили. Бегал к начальнику больницы, выбивал для нас – молодых, голодных врачей – ставки, деньги, жилье на территории больницы.

А потом наш бог заболел. Заболел страшно и через пару месяцев попал в больницу со множественными метастазами.

В ту ночь я дежурила в реанимации.

Он изменился, конечно. Но этот рыжий, неистребимый дух – вот он. В глазах, которые никогда не забуду.

Из его истории болезни я узнала, что, кроме всего прочего, наш дорогой доктор воевал в нескольких войнах, был ранен и награжден. Он никогда про это не рассказывал. Врач и война – несовместимы, хотя – случается.

И вдруг – болезнь – и никакой надежды.

– Назначь мне что-нибудь посильнее, – просит он и криво улыбается.

Это – боль. Она приходит, не спрашивая разрешения.

Через неделю его перевели из реанимации на этаж. Прямой угрозы для жизни не было. Прогноз – пара месяцев, если на химии. А потом – все, и больше никакого огня.

И все-таки, все-таки...

Герой – это тот, кто остается, даже если уходит.

Сейчас я расскажу про то, про что все в больнице знали, ноникогда вслух не обсуждали.

Пару дней спустя, однажды вечером, после того, как жена поцеловала его в небритую впалую щеку и ушла домой голосить, а солнце покатилося и упало с подоконника, затопив огнем больничный двор и розы, розы, доктор Зеклер попросил дежурного врача назначить ему «что-нибудь посильнее».

Доктор Зеклер был таким заведующим, которого невозможно послушаться. Капельница капала и капала. Морфий утолял боль, боль утоляла жизнь. Жизнь, прожитая ради других, уходила. Память – оставалась.

Он больше не проснулся.

Прошло двадцать пять лет, а мы все его помним. Я рассказываю про него своим студентам. Про рыжего доктора, который работал спасателем и умер, как герой. Который учил нас тому, что самый главный человек в больнице – это пациент. И это – главный урок всей медицинской науки.

Ну и огонь внутри, конечно.

- ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

При входе в каждую комнату-палату висит табличка COVID +. Сбоку на стене прилеплен пластиковый карман, в нем фотография и имя того, кто в этой комнате живет. Если приходишь утром на дежурство и видишь, что карман пустой, значит пациент ночью умер. Вчера на моем этаже из тридцати карманов четыре были пустые.

Эту неделю я дежурная по COVID в доме престарелых.

Первое, что видишь, заходя в комнату – это табличка «История жизни».

Что входит в историю нашей жизни? Имя, фамилия, дата рождения, профессия, имя спутника жизни, имена детей, любимое занятие и самое дорогое воспоминание. И это все.

Никому неинтересно сколько у тебя было денег и какое положение в обществе ты занимал. Твоя история жизни умещается на табличке размером с тетрадный лист.

Трудно запомнить лица и имена двадцати шести человек вот так сразу. Конечно же, я начинаю с того, что читаю историю каждого. За четыре дня у меня уже появились любимчики. Это Бруно, Ромео и Бианка.

Бруно очень интеллигентный, в его истории жизни написано, что самое лучшее воспоминание всей жизни – это тридцать пять лет работы учителем в школе, а самое любимое занятие – слушать музыку, особенно девятую симфонию Бетховена. В его истории болезни написано, что он склонен к депрессии и к Dissociative fugue (от лат. fuga – «бегство»). Пару раз он пытался убежать из дома престарелых, а когда его ловили и возвращали обратно, оправдывался тем, что ищет свою жену. Жена Бруно умерла два года назад, а детей не было, с тех пор он живет здесь.

Ромео – весельчак и большой шалун, ко всем медсестрам он обращается «моя Джульетта». Он тоже одинок, но всегда улыбается, а улыбка на этом этаже – на вес золота.

И Бруно и Ромео на кислороде, а вот у Бианки пока нет никаких симптомов, кроме першения в горле.

Бианке на вид лет 70–75, а на самом деле 99. Глаза живые, голова ясная, очень красивый, даже какой-то литературный французский. Она жила до февраля одна, но с этой зимы отказали ноги, вот и попала в дом престарелых, а тут эпидемия. Ее комната увешана картинами – это пейзажи и акварели.

– Я начала рисовать, как только вышла на пенсию – не могу сидеть без дела, – рассказывает мне она, осторожно расправляя вязаный плед на коленях. Ее руки изуродованы артрозом.

– Ты смотришь на мои руки? – улыбается она, – Да, красивого мало, но мне это никогда не мешало. Я ведь сначала была пианистка, но мой дорогой муж рано умер, а музыкой много не заработаешь, сын был маленький, вот и пришлось идти на черные работы – сначала в госпиталь санитаркой, потом подучилась немного, я, знаешь ли, всегда любила учиться, в конце концов стала главным администратором огромного детского госпиталя. Носилась по этажам с утра до вечера, раньше всех приходила на работу, позже всех уходила, а сейчас – погляди, ноги-то не ходят. Но это ничего, вот только эпидемия пройдет, я себе и тут занятие найду, я уже у медсестер спрашивала, может что-то укладывать, сортировать, не знаю, доверят ли? – она с беспокойством вглядывается в мое лицо. – А ты поди устала, дочка? Ты присядь, отдохни, поболтаем заодно.

Я качаю головой, мой защитный «шлем» качает тоже.

– Сейчас не могу, дорогая Бианка. Я завтра зайду, ладно?

Следующая комната – здесь живет Женевьев. В ее истории жизни написано, что самое любимое занятие – загорать на пляже, а самое дорогое воспоминание – три ее свадьбы. Женевьев очень вообразает, она сгорбленная, седая, голос резкий и неприветливый, комната к ней увешана постерами рок групп, а на тумбочке стоит огромный ярко-розовый телефон, я даже не знала, что такие бывают. Она меня не очень-то привечает, но надеюсь к концу недели мы подружимся. Если до конца недели все будет не

хуже, потому что Женевьев тоже на кислороде, как и все остальные мои друзья на втором этаже небольшого дома престарелых на берегу реки. Там еще есть парк, куда я забегаю по утрам, перед работой, чтобы покормить белок сушками. Потому что если бы не белки и не река, было бы совсем трудно.

Об авторе: ЛАДА МИЛЛЕР

Писатель. Поэт. Рассказы, повести и стихи печатались в журналах «Южное Сияние», «Литература», «Дальний Восток», «Этажи», (Россия), «Литературный Иерусалим» (Израиль), «Эмигрантская лира» (Бельгия), «Новый Свет» (Канада), а также в газете «МК» и на литературном портале #Textura Книги: «Голос твой», 2015 г., Тель Авив, «В переводе с птичьего», 2018 г., изд. «Время», Москва, «Мурашки для Флейты» 2019 изд. Blue Ocean Theater Studio Майами. Родилась в Новгороде, с 1991 по 2002 жила в Израиле, с 2002 г. живет в Канаде. Врач-ревматолог, замужем, трое детей. Neкаýalar